

18+

Андрей Вайкус

Парк «Олимпия»

Андрей Вайкус

Парк «Олимпия»

«Издательские решения»

Вайкус А.

Парк «Олимпия» / А. Вайкус — «Издательские решения»,

Фантастический триллер о парке иллюзий, где искусственные люди учатся чувствовать, а настоящие — забывают, кто они. Москва 1980 года воссоздана под куполом для богатых гостей с пугающей точностью.

© Вайкус А.

© Издательские решения

Содержание

ПАРК «ОЛИМПИЯ»	6
Глава 2	22
Глава 3	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Парк «Олимпия»

Андрей Вайкус

© Андрей Вайкус, 2026

ISBN 978-5-0070-6964-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПАРК «ОЛИМПИЯ»

Глава 1

Терминал перехода был белым, стерильным, лишённым времени.

Я стоял посреди овального зала с потолком, теряющимся где-то наверху в матовом сиянии, и пытался понять, нравится мне здесь или нет. Воздух пах не озоном и металлом, как в любом современном аэропорту, а подогретым искусственным хвойным ароматизатором — слишком ровным, слишком уверенным в себе, чтобы быть случайным выбором парфюмера. Кто-то долго подбирал именно этот запах, чтобы он встречал гостей у самой границы между мирами.

За стеклянной стеной в пол, которая занимала всю дальнюю часть зала, мерцали фантомные силуэты идеальной Москвы 1980 года. Это были даже не изображения — это были обещания. Чистые проспекты, цветущие каштаны, женщины в белых платьях у фонтанов. Всё чуть подёрнуто дымкой, как старые открытки.

Перед стеклом, в нескольких шагах от меня, сидела голограмма.

Это была женщина в строгом костюме цвета морской волны, с аккуратной причёской из тех, что в семидесятых называли «французским пучком», и с улыбкой, застывшей где-то между бюрократической вежливостью и искренним энтузиазмом. На лацкане жакета — крошечный значок с олимпийским Мишкой, выполненный с такой точностью, что на нём были видны даже стежки на красном поясе.

— Маркус Тамм. Добро пожаловать в «Олимпию», — голос её был тёплым, модулированным, без единой шероховатости, но я понимал, что это голос изделия. — Ваша легенда подтверждена. Аккредитация «Suomen Kuvalehti» даёт вам уровень доступа «Гость-Наблюдатель». Это означает свободу передвижения по основной территории парка и на олимпийских объектах. Сопровождение со стороны комитета — минимальное, по вашему запросу.

Голограмма провела рукой по невидимому интерфейсу, и в воздухе передо мной начали материализоваться вещи: пресс-карта на плотной бумаге с водяными знаками, удостоверение в кожаном чехле и фотоаппарат — точная копия «Зенита-Е» с фирменным объективом «Гелиос-44». Камера выглядела как живая, но я знал, что она невесомая и внутри едва уловимо гудит электричество.

— Ваш транспорт ждёт. Поезд доставит вас на главный вокзал парка. Помните, — голограмма наклонила голову, и её улыбка на мгновение стала чуть менее человеческой, — вы здесь, чтобы наблюдать. Не нарушайте гармонию. Нарушение гармонии влечёт за собой... коррекцию.

За стеклом силуэты ожили. Послышались далёкие, приглушённые звуки города: трамвайный звонок, детский смех, голос диктора из репродуктора. Где-то лаяла собака, и этот звук был так выверен, что я понял — над ним работали отдельные звукорежиссёры.

— Вы человек или уже? — спросил я, чуть наклонив голову набок.

Голограмма застыла на долю секунды. Её улыбка не дрогнула, но в глазах, симулирующих живой блеск, промелькнула странная механическая задержка — как будто процессор перебирал варианты ответа, отбраковывая неподходящие.

— Я — интерфейс парка, — прозвучал её голос, всё такой же ровный и тёплый. — Моя задача — обеспечить ваш комфортный переход в реальность 1980 года. Вопрос о природе оператора не входит в перечень рекомендованных для обсуждения на этапе брифинга.

Я усмехнулся про себя. Уже на этом этапе — фирменная увёртка корпорации, обещающей вам полное погружение и одновременно отказывающей в самой простой человеческой откровенности.

Она плавным жестом указала на появляющуюся в стене белую арку, за которой виднелся вагон поезда — синий, с белой полосой и гербом, выполненный в стиле советских поездов конца семидесятых.

— Ваш поезд отправляется через три минуты. Все необходимые разъяснения о функционировании парка вы получите от хостов-кураторов на месте. Желаем вам плодотворной работы, товарищ Тамм.

Последние слова прозвучали с лёгким, едва уловимым акцентом на слове «товарищ» — будто она хотела увидеть мою реакцию. Я её не дал. За двадцать лет работы я привык, что любая фраза, произнесённая с особой интонацией, — это удочка. Не нужно её хватать.

— Спасибо, — кивнул я. — Ещё вопрос. Что я могу делать и что запрещено?

Голограмма, уже почти растворившаяся, снова сгустилась — как будто принимая решение ответить. Её лицо сохраняло безупречно дружелюбное выражение, но в тоне появилась лёгкая, почти неуловимая металлическая нотка инструктажа.

— Вы можете всё, что соответствует вашей легенде и духу эпохи, — прозвучал ответ, размеренный и чёткий. — Фотографировать, интервьюировать граждан, посещать культурные мероприятия, заказывать обед в столовой за копейки. Вы можете флиртовать с девушкой-комсомолкой на ВДНХ или спорить о музыке с хиппующим студентом в кафе «Синяя птица». Парк поощряет глубокое погружение.

Пауза была рассчитанной. Ровно две секунды — столько, сколько нужно, чтобы предыдущая фраза успела осесть, и слушатель приготовился к контрасту.

— Запрещено насильственное уничтожение имущества парка, — голос стал чуть холоднее. — Запрещены попытки «просвещения» хостов о природе их реальности. Категорически запрещён несанкционированный выход за пределы зоны, доступной для вашего уровня аккредитации. Нарушение правил приведёт к вмешательству службы гармонии.

Она снова улыбнулась — и эта улыбка уже не казалась такой безобидной.

— А теперь, пожалуйста, проходите. Поезд ждёт.

— Остальное можно... — я выдержал её взгляд. — И сексуальные контакты?

Голограмма не моргнула. Её выражение осталось профессиональным, но в глазах появилось что-то похожее на холодное, алгоритмическое понимание. Этот вопрос ей задавали уже тысячу раз, и она знала на него точный ответ.

— Сексуальные контакты с хостами разрешены и являются частью предлагаемого спектра услуг, — она произнесла это без малейшего колебания, будто перечисляла пункты технического руководства. — Хосты запрограммированы на соответствующие реакции. Это считается частью «глубокого погружения».

Голограмма помолчала ровно столько, сколько нужно, чтобы интонация сменилась с разрешительной на предупреждающую.

— Однако любые попытки причинить хосту непоправимое физическое повреждение или нарушить его базовые поведенческие алгоритмы будут расценены как разрушение имущества парка. Помните: они — часть гармонии.

Арка продолжала светиться. Гул поезда стал ближе.

— Все детали и варианты вы сможете обсудить с вашим персональным куратором после прибытия. Ваш транспорт готов к отправлению. Последний совет: не называйте их машинами. Это нарушает гармонию.

Я кивнул. Голограмма кивнула в ответ — и её фигура окончательно растворилась в воздухе, оставив после себя лишь лёгкое статическое электричество и слабый запах озона. Арка передо мной ярко вспыхнула, превратившись в прозрачный энергетический шлюз.

За ним виднелся вагон поезда.

Интерьер купе был выдержан в стиле позднесоветской «комфортности»: красно-коричневый плюш диванов, деревянные панели с лакированной фактурой, сетчатые багажные полки.

На столике у окна уже стоял гранёный стакан в подстаканнике с позолотой — настоящем, тяжёлом, с гравировкой герба СССР. Из стакана поднимался лёгкий пар, и в воздухе витал безошибочно узнаваемый аромат: железной дороги, лака и заварного чая с бергамотом.

В купе никого не было. Я ступил внутрь. Двери шлюза беззвучно закрылись за моей спиной. Раздался мягкий, но уверенный щелчок магнитных замков.

Поезд тронулся без толчка, плавно набирая скорость. За окном белый туннель терминала сменился панорамой, от которой на мгновение перехватило дыхание: под искусственным куполом парка раскинулась идеальная, солнечная Москва конца мая 1980 года. Чистые улицы, зелень каштанов, сверкающие на солнце шпили сталинских высоток и бесконечные олимпийские флаги на фонарных столбах. Всё было слишком ярким, слишком правильным, чтобы быть настоящим.

И всё же я почувствовал, как у меня сжалось горло.

Это был тот город, в который мама никогда уже не сможет вернуться. Тот город, который для отца всегда был чужим, но всё равно — притягательным. Я смотрел на эту нарисованную Москву, и где-то под рёбрами поднималось что-то странное, тёплое и горькое одновременно. То, ради чего, в общем, я и купил эту путёвку.

Напротив, на другом диване, материализовалась фигура. Появление было совершенно беззвучным — только что место было пустым, и вот уже там сидел мужчина лет сорока в аккуратном сером костюме, с портфелем из искусственной кожи, поставленным на колени. Он улыбнулся мне доброжелательной, но несколько напряжённой улыбкой — улыбкой человека, который знает, что его работа сложнее, чем кажется снаружи.

— Добрый день. Разрешите представиться — ваш сопровождающий и куратор на время адаптации. Алексей Петрович. Очень рад, что вы с нами, товарищ Тамм. Надеюсь, дорога не утомила?

— Добрый день, — ответил я и, выдержав короткую паузу, добавил тем же ровным тоном: — Вы человек или уже?

Алексей Петрович замер на долю секунды. Его улыбка не дрогнула, но в глазах, внимательно изучающих меня, мелькнула едва уловимая тень. Он поправил галстук — движение было слишком отточенным, плавным, без той маленькой неловкости, которую совершают живые пальцы.

— Я — ваш куратор, — ответил он спокойно. Голос был бархатистым, без единой шероховатости. — Моя задача — помочь вам освоиться, ответить на вопросы, обеспечить ваш комфорт и продуктивную работу. Всё остальное не имеет значения для достижения ваших целей в парке, не так ли?

Он сделал паузу, давая словам повиснуть в воздухе, наполненном гулом поезда и запахом чая.

— Вы ведь приехали делать репортаж об Олимпиаде и «человеческом лице социализма», — продолжил Алексей Петрович, и в его тоне появились лёгкие, почти неуловимые нотки чего-то, напоминающего иронию или предостережение. — Давайте сосредоточимся на этом. Москва ждёт. У вас будет много материала.

«Не ответил, — подумал я. — Но как тогда мне отличить гостя от хозяина парка?»

Я задал этот вопрос вслух.

Алексей Петрович медленно выдохнул, и его взгляд стал тяжелее, будто он взвешивал каждый возможный ответ. Он потянулся к портфелю, достал папку с бумагами — но это движение казалось скорее ритуалом, чем необходимостью. Папка осталась нераскрытой у него на коленях.

— По глазам, — сказал он наконец, отводя взгляд к промелькнувшему за окном идеальному микрорайону. — И по незнанию деталей. Гости иногда путаются. Не помнят, где находится магазин «Весна» или во сколько начинается работа булочная на Ленинском. Хозяева...

— он сделал паузу, подбирая слово, — местные жители никогда не ошибаются. Они знают расписание троллейбуса номер тридцать три наизусть. Знают, что в четверг в столовой номер двенадцать дают котлеты по-киевски, а в среду — солянку. Это их мир. Они в нём живут.

Он перевёл взгляд обратно на меня, и в его глазах теперь читалась не просто инструкция, а что-то более сложное — смесь профессиональной отстранённости и глубокого, почти болезненного знания.

— А ещё гости... они часто слишком свободны. Слишком много вопросов задают. — Он слегка наклонился вперёд, и его голос стал тише, почти конфиденциальным. — Советую вам, товарищ Тамм, сначала понаблюдать. Войти в ритм. А вопросы... задавать их тем, кто действительно может на них ответить. Не всем.

— Не всем... Тогда кому можно?

Алексей Петрович откинулся на спинку дивана. Его пальцы постукивали по кожаной обивке портфеля — лёгкий, ритмичный звук, похожий на пишущую машинку. За окном мелькали безупречные фасады, будто нарисованные идеальной рукой.

— Тем, кто носит знак, — ответил он наконец. Голос был ровный, но в нём сквозила усталость от многократного повторения одних и тех же истин. — Круг с расходящимися лучами. Как солнце. Вы увидите его на лацканах, на сумках, иногда на запястье в виде часов. Это операторы. Технический персонал. Они поддерживают гармонию. Они... не являются частью декораций.

Он посмотрел на меня прямо, и в его взгляде внезапно вспыхнула искра чего-то живого, не запрограммированного, — острого интереса или, возможно, предостережения.

— Но и с ними — осторожно. Их ответы всегда будут в рамках инструкции. Настоящие ответы, товарищ Тамм, вы найдёте не в словах. А в том, что между строк. В том, что слишком идеально, чтобы быть правдой. И в том, что ломается.

Поезд начал замедлять ход. За окном вырисовывался вокзал — точная копия Киевского, залитая ярким, ненастоящим солнцем. Алексей Петрович собрался, его лицо снова стало вежливой профессиональной маской.

— Мы прибываем. Готовьтесь выйти в тысяча девятьсот восьмидесятый год. И помните: здесь каждый за вами наблюдает. В целях вашей безопасности, прежде всего!

— Я понял, — кивнул я. — У меня будет сопровождающий или сопровождающая? Я бы предпочёл девушку.

Алексей Петрович на мгновение замер, его взгляд стал оценивающим, холодно-аналитическим. Он медленно кивнул, как будто сверяясь с невидимым списком протоколов.

— Это может быть устроено, — ответил он, его голос вновь приобрёл отстранённо-деловой тон. — По прибытии на вокзал вас встретит хост-куратор по имени Ирина. Она будет вашим гидом, помощником и... спутницей на время пребывания, если вы того пожелаете. Её параметры и поведенческие алгоритмы соответствуют вашим предпочтениям, которые вы делали в заявке на путевку.

Поезд плавно остановился. За окном открылась платформа, заполненная «людьми» в летней одежде конца семидесятых: мужчины в светлых рубашках, женщины в сарафанах и с авоськами. Все улыбались, разговаривали, но их движения были слишком синхронными, словно отрепетированными хореографом.

— Ирина предоставит вам полную информацию о расписании, доступных локациях и... возможностях, — продолжил Алексей Петрович, вставая. Его тень упала на меня, на мгновение скрыв яркий свет из окна. — Помните только одно: она — часть гармонии. Её реакции предсказуемы. Её эмоции — смоделированы. Не ищите в ней человека. Это приведёт только к разочарованию... или к проблемам.

Двери вагона беззвучно открылись, впуская волну звуков: смех, голоса, далёкую музыку из репродуктора и запах свежего асфальта и сирени. На перроне, в нескольких шагах от вагона,

стояла молодая женщина в лёгком платье в горошек, с аккуратной причёской и сумкой через плечо. Она улыбалась, и её улыбка была точной копией тех, что были на плакатах: открытая, искренняя, абсолютно невинная.

— Это она? — спросил я, поднимаясь.

Алексей Петрович лишь коротко кивнул, его взгляд скользнул по фигуре девушки на перроне с холодной профессиональной оценкой.

— Она. Ирина Владимировна. Её алгоритмы включают знание города, протоколов безопасности и базовых социальных взаимодействий. Всё, что вам потребуется.

Он сделал шаг к выходу, но задержался в дверях, обернувшись. Его лицо, освещённое искусственным солнцем, казалось вырезанным из воска.

— Последнее. — Его голос упал до шёпота, едва слышного под гул толпы. — Если заметите в её поведении сбой — повторяющееся движение, застывшую улыбку, вопрос, заданный вне контекста, — не пытайтесь её «починить». Сообщите оператору. Любое самостоятельное вмешательство считается саботажем.

Не дожидаясь ответа, он вышел на перрон и растворился в толпе, движущейся слишком упорядоченным потоком.

Я остался один в дверях вагона.

Девушка приблизилась.

Её шаги были лёгкими, почти бесшумными, с тем правильным ритмом, который бывает у выпускниц балетных кружков провинциальных Домов культуры. Платье в горошек слегка колыхалось при ходьбе, открывая колени — не больше, чем требовали приличия 1980 года. На запястье — простые часы на тонком ремешке. На груди — никакого значка, ни комсомольского, ни олимпийского. Чистый, нейтральный образ.

Крупные карие глаза смотрели прямо на меня, излучая тёплое, заранее запрограммированное любопытство. Я отметил про себя, что она не моргнула, пока подходила, ни разу — но потом, остановившись в двух шагах, моргнула очень человечески, дважды подряд. Кто-то хорошо поработал над её поведенческими протоколами.

— Здравствуйте, Маркус? — голос у неё был звонким, мелодичным, без единого постороннего звука. — Я Ирина. Буду вашим гидом. Добро пожаловать в Москву. Вам, наверное, не терпится начать?

— Да, конечно, — улыбнулся я как можно шире.

И тут же почувствовал странное смущение от того, насколько живой она выглядела. Если бы мне не сказали заранее, что Ирина — хост, я бы никогда не догадался. У неё были тёплые человеческие глаза, очень женское движение плечами, когда она поправляла ремешок сумки, и крошечная веснушка на левой стороне переносицы — мелкая деталь, которую не закладывают в модель ради красоты, а ради того, чтобы сбить с толку.

— Не удивляетесь, что я хорошо говорю по-русски? — спросил я. — Во мне есть русская и эстонская кровь. Мама — из Ленинграда, отец — из Таллина.

Ирина не проявила ни малейшего удивления. Её улыбка лишь стала чуть шире, словно она получила подтверждение ожидаемых данных.

— Как замечательно! — её голос звучал искренне, слишком искренне для случайной встречи на перроне. — Тогда вам будет ещё проще почувствовать себя здесь как дома. Москва всегда рада гостям, особенно тем, кто понимает её душу.

Она сделала лёгкий шаг в сторону, приглашая следовать за ней. Её движения были грациозными, но в них чувствовалась какая-то идеальная плавность, лишённая случайных микродвижений — покачивания головы, поправления волос, которые делает обычная двадцатитрёхлетняя девушка, когда нервничает или думает о постороннем.

— У нас составлен предварительный план, — продолжила Ирина, доставая из сумки сложенный вчетверо листок плотной бумаги. — Сегодня мы можем начать с прогулки по Арбату, посетить готовящиеся олимпийские объекты, а вечером поужинать в ресторане «Прага». Если, конечно, это соответствует вашим творческим задачам.

Её взгляд скользнул по камере в моих руках, и в её глазах вспыхнул одобрителный, почти восторженный блеск.

— Вы обязательно должны снять, как украшают город! Это же история!

— Конечно, — воскликнул я. — Это моя профессия.

Я снял с плеча кожаный ремень моей «Лейки» — настоящей «Лейки», единственной вещи, которую парк разрешил мне взять с собой из реального мира, потому что у фотографов того времени такая модель тоже встречалась у иностранных корреспондентов. Прохладная сталь корпуса, чуть истёртый затвор. С этой камерой я объездил половину Европы.

— Но сначала, наверное, где-то разместиться, убрать дорожные вещи, — добавил я. — Для меня подготовили номер в гостинице?

Ирина кивнула с той же безупречной предупредительной улыбкой.

— Конечно, всё готово. Вам предоставлен номер в гостинице «Украина». Это одна из наших жемчужин. — Её голос зазвучал с оттенком гордости, словно она лично участвовала в строительстве сталинской высотки. — Вид на Москву-реку и Кутузовский проспект. Идеально для вашей работы и... отдыха.

Она сделала лёгкий жест рукой — и к перрону, почти бесшумно, подкатила чёрная «Волга» с шофёром в форменной фуражке. Шофёр вышел, одним коротким движением взял мой чемодан — без лишних слов, без улыбки. Лицо его было гладким, безмятежным и совершенно нейтральным, как у манекена в витрине.

— Поедем? — Ирина уже открывала заднюю дверь автомобиля. Внутри пахло кожей, дорогим табаком и слабым ароматом хвои — точно таким же, как в терминале. Видимо, у парка был общий парфюмерный код. — По дороге я покажу вам основные ориентиры. А после того, как вы разместитесь, мы можем сразу начать. Солнце сегодня такое красивое, — она взглянула на небо, и её лицо осветилось восторгом, — просто создано для фотографий.

— Отлично, — улыбнулся я. — А вы будете меня всегда сопровождать?

Я опустил в просторный салон. Иностранных гостей в Москве в эти годы и впрямь любили — точнее, тщательно опекали, что было почти одно и то же. Парк, видимо, решил воспроизвести эту фактуру максимально точно.

Ирина плавно села рядом, её платье аккуратно расправилось — само собой, без её участия. Дверь закрылась с глухим, надёжным щелчком, отрезая нас от шума перрона.

— На всё время вашего пребывания, — подтвердила она, поворачиваясь ко мне.

— Я ваш гид, переводчик и помощник. Если вам потребуется приватность для работы или... отдыха, достаточно сообщить. Но в целом, да, я буду рядом.

«Волга» тронулась, плавно выезжая с вокзальной площади на широкий, идеально чистый проспект. За окном проплывали безупречные фасады, цветущие каштаны, люди на остановках — все улыбающиеся, все занятые каким-то мирным, предолимпийским делом.

— Иностранных гостей не просто любят, — продолжила Ирина, её голос приобрёл лёгкий, почти поэтический оттенок, словно она цитировала заученный текст. — Их ждали. Олимпиада — это праздник мира, дружбы, взаимопонимания. Вы здесь — часть этого большого, светлого события.

Она положила руку на сиденье между нами. Её пальцы были идеально ровными, без единой царапины или заусенца, с лёгким перламутровым лаком, который тогда только-только входил в моду в Москве.

— Так что чувствуйте себя как дома, Маркус. Вас здесь ценят.

— Благодарю, — сказал я тихо.

Хотя девушка сидела на небольшом расстоянии, я чувствовал тепло её тела — изящное, нежное, скрытое под лёгким платьем. Это было странно. Ещё двадцать минут назад мне рассказывали, что её эмоции смоделированы, а она для меня — «часть гармонии», и вот я уже ловил себя на том, что её тепло влияет на меня сильнее, чем рассказ Алексея Петровича.

Ирина не отодвинулась. Она оставалась на своём месте, но её поза, казалось, стала чуть более открытой, расслабленной. Лёгкий аромат её духов — что-то цветочное, напоминающее ландыш и ваниль, — смешивался с запахом кожи в салоне.

— Всегда пожалуйста, — её голос прозвучал тише, почти интимно в замкнутом пространстве автомобиля. — Моя задача — сделать ваше пребывание здесь максимально комфортным и продуктивным.

Её взгляд скользнул по моему лицу, затем опустился на камеру, лежащую у меня на коленях. Она слегка наклонилась, чтобы лучше рассмотреть аппарат, — и в этом движении её плечо почти коснулось моей руки. Тепло от её кожи было удивительно живым, почти пульсирующим.

— Какая красивая камера, — прошептала она, и в её тоне появилась нотка искреннего, детского восхищения. — Вы покажете мне, как ею пользоваться? Я всегда хотела научиться фотографировать. У нас в фотокружке при ДК были только простые «Смены».

— Это немецкая «Лейка», моя старая подруга, — усмехнулся я.

За окном проносилась Москва. Цветущие каштаны Кутузовского, белые свадебные «Чайки» у Загса, девушка в лимонном платье, бегущая через дорогу с букетом сирени. Всё это было так красиво, что у меня снова сжалось горло — но я не позволил себе отвлечься.

Ирина откинулась на спинку сиденья, но теперь её плечо почти касалось моего. Через тонкую ткань платья передавалось тепло её кожи — живое, пульсирующее.

— Москва прекрасна в это время года, правда? — Она взглянула в окно, где мелькали безупречные фасады и яркие олимпийские флаги. — Всё цветёт. Всё готовится к празднику. И у тебя есть уникальный шанс запечатлеть это навсегда.

Её рука лежала на сиденье между нами — ладонью вверх. Не как явное приглашение, но как открытая, незащитная возможность. В салоне пахло кожей, её духами и сладковатым запахом цветущих лип за окном.

— В гостинице тебя ждёт сюрприз, — добавила она, повернув голову. Её дыхание было тёплым и пахло мятной жвачкой. — По случаю твоего приезда. Думаю, тебе понравится.

Голос шофёра, безэмоциональный и чёткий, нарушил момент:

— Гостиница «Украина». Подъезжаем.

«Волга» плавно остановилась у парадного входа...

Мы вышли. Я схватил свой небогатый багаж — кожаную дорожную сумку и чехол с камерой — и Ирина повела меня ко входу.

Её каблуки отчётливо стучали по безупречно чистой гранитной плитке подъезда, и этот звук — частый, женский, деловой — вдруг показался мне самым настоящим из всего, что было сегодня. Портъе-хост в форменной тужурке с золотыми позументами уже держал дверь, его лицо застыло в стандартной гостеприимной улыбке.

— Вас ждут, товарищ Тамм, — произнёс он, и его голос звучал как отлаженный механизм, где каждое слово было подогнано к следующему.

Лобби гостиницы поражало размахом. Мраморные колонны, хрустальные люстры размером с человека, гигантские вазы с искусственными — но неотличимыми от живых — пионами. Всё сверкало, всё дышало монументальной, подавляющей советской роскошью. За стойкой администратора, под портретом улыбающегося Брежнева, две девушки в одинаковых голубых жакетах одновременно кивнули нам — синхронно, в одну и ту же секунду. Я почти физически ощутил, как меня ощупали взглядом.

— Мне нужно оформить документы?

— Уже все задокументировано — можете подниматься в номер — с равнодушной улыбкой сообщила одна из девушек

Ирина провела меня мимо них к лифту, обитому полированным деревом. Двери бесшумно раздвинулись.

— Ваш номер на шестнадцатом этаже. Угловой, — пояснила она, нажимая кнопку. Лифт плавно понёс нас вверх. — Вид, как я и обещала, захватывающий. И... сюрприз.

Когда двери открылись, она вышла первой и остановилась у одной из дверей, вынув из сумочки ключ-карту старого образца — тяжёлую латунную пластину с выгравированным номером 1612. Щёлкнул механический замок.

Комната была просторной, с высокими потолками. Мебель — массивная, тёмная, в стиле «советская классика» начала шестидесятых: тяжёлый письменный стол с зелёным сукном, круглый столик у окна, два кресла с высокими спинками. Но внимание сразу привлекало панорамное окно, открывающее вид на изгиб Москвы-реки, новостройки Кутузовского и, вдалеке, сияющий на солнце Кремль.

На столе у окна стояла ваза с живыми — на вид настоящими — тюльпанами. А на широкой двуспальной кровати с атласным бордовым покрывалом лежала аккуратная стопка плёнок «Свема» для фотоаппарата, коробка шоколадных конфет «Мишка на Севере» и... бутылка армянского коньяка «Арагат» с двумя стопками.

Ирина обернулась ко мне, прислонившись к косяку. Её поза была расслабленной, в глазах горел притягательный огонёк.

— Ну как? Одобряете?

— Да, очень приятный номер, — кивнул я и прошёл к окну.

Москва-река лежала внизу спокойная, серебристая, с одинокой белой «Ракетой», скользящей в сторону Парка Горького. Я отвернулся от окна и посмотрел на Ирину.

— Вы со мной то на «ты», то на «вы»... Смущаетесь?

Она отвернулась к окну, будто разглядывая вид, но её плечи на секунду напряглись. Когда она снова повернулась, улыбка вернулась — но теперь казалась более хрупкой, натянутой.

— Давайте на «ты», — сказала она уже более уверенно, сделав шаг вперёд. Её пальцы нервно перебирали складки платья. — Если тебе так удобнее. Я здесь, чтобы тебе было удобно. Чтобы ты чувствовал себя... как с настоящим другом.

Она подошла к столу, взяла бутылку коньяка.

— Открыть? Праздник же. Первый день в Москве.

— Давай я сам, — улыбнулся я. — Я же мужчина. А ты такая юная, но уже пьёшь коньяк... Может, найдём шампанское или закажем в номер? Это возможно у вас?

Ирина выпустила бутылку из рук, позволив мне взять её. Её пальцы на мгновение коснулись моих — тёплые, мягкие, с идеально ровными ногтями.

— Всё возможно, — ответила она, и в её голосе снова зазвучала лёгкая игривая нотка.

Она отошла к телефону на прикроватной тумбочке — тяжёлой, чёрной, с диском для набора номера. Сняла трубку, и её движения стали чёткими, деловыми.

— Алло? Это номер шестнадцать-двенадцать. Пришлите, пожалуйста, бутылку «полусухого», банку кеты, лимон, бутерброды с красной рыбой. Да, спасибо.

Положив трубку, она обернулась, опершись о тумбочку. Её взгляд скользнул по моему лицу, затем по кровати — и в её глазах появилось что-то похожее на смущение. Искусное, убедительное.

— Ты прав, коньяк — это слишком серьёзно для первого вечера. Шампанское больше подходит для... знакомства.

— Я всё-таки налью себе коньяк, — сказал я, расстёгивая верхнюю пуговицу рубашки. — Никогда не пил армянский.

Я соврал — пил, и не раз, ещё в Хельсинки, у одного редактора, у которого был старый знакомый из Еревана. Но сейчас мне нужно было держаться легенды.

— А тебе, как юной женщине, лучше игристое.

Заказ доставили быстро — минут через семь, как и было обещано. Молчаливый официант в белой курточке вкатил столик на колёсиках и так же молча удалился, не дождавшись чаевых. Я налил Ирине шампанское, пока она раскладывала на столике деликатесы.

Рассыпчатая красная икра. Тонкие ломтики лимона, выложенные веером. Бутерброды на белом хлебе, чуть подрумяненные. Аккуратная горка масла в крошечной хрустальной розетке. Всё было сделано с такой методичной точностью, что напоминало натюрморт из инструкции для официантов высшего разряда.

— За новую Москву? — предложила Ирина тост, слегка приподняв бокал. Искристые пузырьки поднимались в золотистой жидкости, отражаясь в её тёмных глазах. — И за твои будущие шедевры.

Она сделала небольшой глоток, и её губы, влажные от вина, на мгновение задержались на краю бокала. Потом она поставила его на стол и принялась раскладывать остальное с той же методичной аккуратностью.

— Армянский коньяк — он с характером, — заметила она, наблюдая, как я пробую напиток. — Тёплый. Сложный. Как и люди с Кавказа. Ты почувствуешь его послевкусие — ореховое, с лёгкой горчинкой.

Она села на край кровати, поправив складки платья. Её поза была одновременно открытой и слегка скованной — как у девушки, которая хочет произвести впечатление, но не уверена в правилах игры.

— Расскажи о себе, Маркус. Не как фотограф, а просто. Что ты любишь, кроме своей «Лейки»?

— Вкусно, интересно... — я обвёл взглядом столик. — Тут всё дорого. Все советские люди тоже так едят и пьют?

Я задал этот вопрос автоматически — журналистский рефлекс, как подёргивание пальцев у курильщика, — и тут же пожалел.

— Извини. Я журналист. Но такие вопросы не задают. Перейдём на другую тему.

Ирина застыла с ломтиком хлеба в руке. Её улыбка не исчезла, но в глазах промелькнула тень

— Вопросы можно задавать любые, — сказала она наконец. Голос её звучал ровно, но стал чуть тише. — Но ответы... они не всегда могут быть такими, какими ты их ожидаешь услышать.

Она отложила хлеб, её пальцы провели по скатерти, выравнивая невидимую складку.

— Здесь, в этой гостинице, в этих тарелках — праздник. Особая реальность. За её пределами... люди живут иначе. Скромнее. Но они счастливы, потому что верят в будущее страны. В Олимпиаду. В мир.

Ирина подняла на меня взгляд, и в её выражении появилась странная смесь — запрограммированного оптимизма и чего-то более глубокого, почти печального. Я отметил это про себя как профессиональную деталь: в её программе был встроен лёгкий меланхолический фильтр, и он включался ровно тогда, когда требовалось добавить персонажу человеческой глубины. Очень тонкая работа.

— Давай поговорим о чём-то светлом, — предложила она, и её голос снова приобрёл лёгкую игривую нотку.

Она подвинулась ближе по кровати, так, что её колено почти коснулось моей ноги.

— О музыке, например. Ты любишь «Машину времени»? Или, может, западный рок? Здесь, в номере, можно слушать что угодно. Это наша маленькая тайна.

— «Машину времени» не слышал, — соврал я в очередной раз. Слышал, конечно, но как финский журналист в 1980-м — не должен был. — У нас на Западе мало кто знает советскую рок-музыку. Я больше люблю «Queen» и «ABBA». Слышали такие?

Ирина оживилась. Её глаза загорелись неподдельным — так казалось — энтузиазмом. Она даже слегка привстала с кровати.

— «ABBA»! Конечно! — воскликнула она, и её голос зазвенел от восторга. — «Waterloo»! Это же гимн! У меня... — она понизила голос до конспиративного шёпота, — у меня есть кассета с их записью. Контрабандная. Я могу её включить. Только тише.

Она встала и подошла к массивному радиоламповому комбайну «Ригонда», стоявшему на тумбе. Её движения были быстрыми, уверенными. Она открыла крышку, вставила кассету и нажала кнопку. Через несколько секунд из динамиков полились знакомые синтезаторные риффы «Dancing Queen».

— А «Queen»... — она обернулась ко мне, её лицо было освещено мягким светом настольной лампы. — Это сложнее. У меня есть только пара песен, записанных с «Голоса Америки» на плохую плёнку. Но «Bohemian Rhapsody» — она есть.

Звук был немного шипящим, с помехами, что делало его ещё более аутентичным. Ирина вернулась к кровати, но теперь её движения подчинялись ритму музыки — лёгкое покачивание плечами, кивок головой. Она протянула мне руку.

— Танцуешь? Здесь, в номере, никто не увидит. Это не по-советски, но... мы же можем нарушать маленькие правила, правда?

— Почему не по-советски? — спросил я и поднялся.

Я обнял её. Прижал к себе её хрупкое тело — и почувствовал, как она замерла на секунду в моих объятиях.

Она была лёгкой и податливой, но немного напряженная. Она прижалась щекой к моему плечу, и её дыхание стало чуть чаще.

— Потому что это слишком откровенно, — прошептала она. Её губы оказались совсем рядом с моим ухом. Дыхание было тёплым, с лёгким ароматом шампанского. — Слишком близко. У нас так не танцуют. На официальных вечерах — вальс, танго... а это...

Она не закончила фразу. Но её руки медленно обвили мою шею, пальцы запутались в волосах на затылке. Она прижалась ко мне всем телом, и теперь уже было ясно — это не просто танец. Её бёдра мягко двигались в такт музыке, повторяя мой ритм, но с идеальной, почти математической синхронностью.

— Но для тебя... — её голос стал тише, почти шёпотом, — для гостя... можно сделать исключение. Можно быть... не такой, как все.

Она запрокинула голову, глядя мне в глаза. В её взгляде не было ни капли стыда или страха — только сосредоточенное, глубокое внимание. Её губы приоткрылись.

— Ты же не расскажешь никому?

— Нет, конечно, — сказал я и прикоснулся к её мягким губам.

Поцелуй был мягким и неторопливым.

Кассета с «ABBA» крутилась на «Ригонде», и динамик чуть шипел на басах. За окном, несколькими этажами ниже, постепенно зажигались огни Кутузовского — оранжевые, тёплые, как огни на старой открытке. В номере пахло шампанским, ландышем, лимоном и едва уловимым запахом ткани атласного покрывала. Это был один из тех вечеров, в которых каждая мелочь словно специально выставлена на нужное место — что, в общем, и соответствовало действительности.

Я отстранился. Посмотрел на неё.

— Подожди, — сказал я. — Не торопись.

Ирина моргнула, чуть удивлённо. На её лице мелькнула та самая краткая задержка, которую я уже научился узнавать, — это её программа сверялась с инструкцией. Видимо, в стандартном сценарии гость на этом этапе вечера не предлагал «не торопиться».

— Я делаю что-то не так? — спросила она тихо.

— Делаешь всё прекрасно. Просто... — я провёл пальцами по её скуле, и она прикрыла глаза. — Я столько лет работаю в журналах. У меня вся жизнь — гонка. Утром самолёт, вечером дедлайн. В Москве в первый раз за двадцать лет, и хочу побыть здесь медленно. Вот так. С тобой. Без спешки.

Она открыла глаза. И в карих зрачках, мелькнула растерянность. Может быть, любопытство.

— Хорошо, — сказала она. — Медленно.

Я взял её за руку и повёл обратно к столу у окна. Налил ей ещё шампанского. Себе — ещё немного коньяка. Мы сели в два кресла напротив друг друга, и какое-то время молчали, слушая, как «АВВА» уступает место Сюзи Куатро, потом — Мирей Матьё. Кассета у Ирины и впрямь была странная, эклектичная, как будто кто-то записывал всё подряд с радио «Маяк» или радио «Свобода»

— Расскажи мне о себе, — сказал я. — О настоящей себе, не из анкеты.

Она помолчала. Её пальцы перебирали ножку бокала.

— Я не знаю, что ты называешь настоящей.

— Самое любимое из детства. То, что ты помнишь без подсказки.

Снова пауза. Я смотрел на её лицо в свете настольной лампы и видел, как в нём что-то происходит — какое-то внутреннее усилие, мягкое, почти тёплое. Возможно, её программа в этот момент действительно собирала ей биографию из миллиона деталей, которыми её снабдили инженеры. Возможно, это был просто хорошо отрепетированный момент. Но получалось правдоподобно.

— Дача, — сказала она наконец. — Под Малаховкой. У бабушки. Мне было семь лет, может быть, восемь. Утром я выходила на крыльцо босиком, и доски были тёплыми от солнца. И пахло... — она задумалась, — флоксами. И ещё чуть-чуть — дымом, потому что соседский дед топил баню. Вот это я люблю.

— Это очень теплые и романтические воспоминания.

— Правда?

— Правда.

Она опустила глаза. Её ресницы дрогнули.

— Никто меня раньше об этом не спрашивал. Гости... они обычно сразу про другое.

— Я не обычный гость.

— Я заметила.

Мы выпили. Я рассказал ей про Хельсинки — настоящие вещи, не из легенды: про то, как однажды зимой вода в гавани замёрзла так, что можно было дойти пешком до острова Суоменлинна, и как я тогда пошёл туда один, в шесть утра, и как тяжёлый лёд скрипел под ботинками в полной тишине. Она слушала так, как слушают только самые внимательные собеседники, — слегка наклонив голову, не перебивая, иногда прикрывая глаза, как будто мысленно она шла по этому льду рядом со мной.

— Хочу когда-нибудь увидеть, — сказала она. — Финский лёд.

— Думаю, ты увидишь, — ответил я мягко, понимая, что — нет.

Она улыбнулась. Эта улыбка была другой — не парадной, не запрограммированной. Тонкой, чуть-чуть грустной. Возможно, её программа умела и так. Возможно, это и было самое дорогое, за что я заплатил.

Шампанское закончилось. Коньяк я допивать не стал — оставил полстакана. За окном Москва успела окончательно потемнеть, и теперь из окна номера 1612 был виден тот самый

ночной город, который снится эмигрантам: тёплые огни, белые дуги мостов, медленные фары машин по набережной.

— Маркус, — позвала Ирина тихо.

— Да.

— Уже поздно. Я могу остаться?

Это был самый деликатный способ задать этот вопрос, который только можно было придумать. Не «ты хочешь меня?», не «давай продолжим». Просто — могу ли я остаться. Я подумал, что сценарист, написавший её, заслуживал отдельной премии.

— Останься, — сказал я.

Она кивнула. Встала, подошла к проигрывателю и выключила музыку. В номере стало очень тихо — только далёкий шум города за стеклом, едва слышный, отфильтрованный. Я выключил верхний свет, оставив только маленькую лампу на тумбочке.

— Тебя не будут за это ругать?

— Мы ведь об этом никому не скажем?

Я с улыбкой покачал головой.

Она развязала ремешок туфель. Потом, не торопясь, как будто продолжая разговор без слов, начала расстёгивать платье. Я подошёл и помог ей — не как мужчина, который раздевает женщину, а как человек, который аккуратно складывает чужой подарок в ящик стола. Она положила голову мне на плечо. Я почувствовал тепло её щеки сквозь рубашку.

То, что было дальше, осталось между нами и слабым светом ночной лампы. Я не буду этого описывать — есть вещи, которые красивы только тогда, когда о них не говорят прямо. Скажу одно: оно было нежным, неспешным, и в нём не было ни единой минуты стыда — ни у неё, ни у меня. Я делал всё так, как делают, когда понимают, что ночь не повторится. Она отзывалась с той бережной открытостью, которая бывает у людей, впервые узнающих, что такое ночь без графика, без задачи, без аплодисментов в финале.

Между нами было какое-то долгое, тихое приключение. Под тёплым светом одной лампы. Под чуть слышимый шум большого города. Под чужие звёзды, нарисованные на куполе парка, — но казалось, что свои.

В какой-то момент она засмеялась — тихо, удивлённо, как будто впервые услышала собственный смех в темноте.

— Что? — спросил я.

— Ничего, — она прижалась лбом к моему плечу. — Просто — хорошо. Я не знала, что бывает так.

— И как?

— Спокойно.

Это слово я запомнил. Не «жарко», не «страстно», не «безумно». Спокойно. Никто из людей, которых я когда-либо встречал, не сказал бы про любовь это слово первым. А она сказала. И от этого мне впервые за весь день стало по-настоящему странно.

Потом мы лежали под одеялом, и она устроилась у меня под рукой — щека на моём плече, ладонь на моей груди. Её дыхание было ровным. Тёплым. На столике у окна тихо тикали часы — те самые, которые входили в реквизит номера, — и из коридора, очень далеко, доносились шаги горничной, которая в этот ненастоящий час несла чьи-то ненастоящие вещи. Я смотрел в высокий потолок с лепниной по углам и думал о том, как я сюда пришёл.

Мне было тридцать пять лет, я был журналистом, прошёл многое, и я знал, как отличить настоящее от ненастоящего. Я знал, что женщина, которая лежит сейчас на моём плече, — не настоящая. Я знал, что её сердцебиение, которое я слышал ладонью, — это работа аккуратно некой настроенной системы, имитирующей биологический цикл. Я знал всё это. И всё-таки. Я лежал и не мог отделаться от ощущения, что обнимаю человека. Не похожего на человека. Не имитацию человека. Человека. Она улыбалась мне той тонкой грустной улыбкой, когда я

рассказывал про лёд в Хельсинки. Никто не учил её улыбаться так. Эту улыбку — её именно эту, кривую, в одну сторону, с лёгким сжатием левого уголка губ, — нужно было кропотливо расчертить и заложить в её программу как один маленький поведенческий узел из тысячи возможных. Кто-то на самом деле сидел и думал: «А вот в этот момент она улыбнётся вот так». И заплатил мне за это сорок с лишним тысяч евро.

Я провёл ладонью по её волосам. Они были тёплыми, чуть влажноватыми у корней. Они пахли ландышем — но если очень внимательно, то ещё и слабым, едва уловимым запахом человеческой кожи, разогретой в ласках. Кто-то и над этим подумал. Кто-то, возможно, из инженеров — какой-нибудь молодой парень в очках в немецком офисе или в швейцарской лаборатории, — однажды утром пришёл и сказал коллегам: «Слушайте, у нас один важный показатель проседает. После близости от модели должно пахнуть слегка иначе». И они полгода работали над этим запахом.

Я заплатил большие деньги. Я долго думал, прежде чем купить эту путёвку. И вот теперь, в номере 1612 гостиницы «Украина», я понимал: я не зря заплатил.

Не за плотскую сторону. Не за вид Москвы из окна. Не за коньяк «Арагат» и красную икру. Я заплатил в том числе за эту улыбку. Может быть, просто очень дорогая и очень умная имитация. Я думал о том, что технология, которая позволила сделать её, — это самая удивительная вещь, с которой я столкнулся за свою жизнь. Если бы я не знал, я бы никогда не догадался. Ни одной клеткой. Ни одной секундой. Я лежал бы сейчас и думал, что встретил юную московскую экскурсоводшу, которая по случайности оказалась удивительно нежной — и что мне очень повезло. Значит, эти инженеры — те, что сидели где-то в холодных залах с белыми панелями, — они победили. Они смогли. Они построили живую неправду, неотличимую от правды. И в этой неправде гость, заплативший дорого, получает то, что в обычной жизни добывается долгими годами, сложными отношениями, везением и риском. Я не знал, как к этому относиться. Радоваться? Бояться? Грустить о том, что человек как вид теперь имеет конкурента в собственной интимной жизни? Я решил пока не думать об этом. У меня впереди было ещё двенадцать дней. Олимпиада, Ленинград, Таллин.

Ирина шевельнулась под моей рукой. Её пальцы на моей груди чуть сжались.

— Ты не спишь? — прошептала она.

— Думаю.

— О чём?

Я молчал секунду. Потом сказал то, что было в этот момент самой честной фразой из всех возможных:

— О том, что я рад, что ты здесь.

Она прижалась ко мне крепче. И я снова поймал себя на том, что не понимаю — её ли это движение или маленький хорошо рассчитанный жест из её программы. И я снова поймал себя на том, что мне это уже всё равно. Потому что в этот момент «Москва» за окном сияла, и вся моя куда-то отступила. И девушка, которой не было, тихо дышала у меня под рукой. Я закрыл глаза. Ирина лежала неподвижно, слушая моё дыхание.

Её щека по-прежнему покоилась на моём плече, ладонь — на моей груди. Тиканье часов на тумбочке казалось громче в этой новой тишине — будто секунды стали тяжелее, медленнее, плотнее. За окном Москва наконец затихла: где-то очень далеко прошёл одинокий троллейбус, и его дальний гул растворился в темноте, не оставив следа.

— Я тоже рада, — прошептала она наконец, и её голос был приглушённым, чуть сонным. — Что я здесь. С тобой.

Она замолчала. Её пальцы слегка пошевелились на моей груди, как будто запоминая текстуру кожи. Потом задала вопрос, который прозвучал неожиданно просто и прямо — настолько просто, что я понял: либо это очень тонкая работа её программы, либо что-то в ней действительно шевелится за пределами протокола.

— А завтра ты ещё захочешь меня увидеть? Или... после такого гости обычно ищут новое впечатление?

Я подумал, прежде чем ответить. У меня не было готового ответа. Я был усталым, сытым, тёплым, мне было очень спокойно, и мне совсем не хотелось думать о завтрашнем дне.

— А что будет завтра? — спросил я.

— Завтра открытие Игр, — сказала она, и в её голосе зазвучали заранее записанные нотки восторга — но тут же смягчились, как будто кто-то её внутри сделал тише регулятор. — Торжественная церемония на Большой спортивной арене. У тебя же аккредитация. Ты будешь фотографировать.

Она опустила взгляд на простыню, провела пальцем по вышитому краю.

— Но если захочешь, — продолжила она тише, — я могу встретить тебя после. Провести по местам, которые не показывают обычным туристам. Туда, где готовятся спортсмены. Или... -Она замялась — ...мы могли бы просто пойти гулять. По набережной.

Я повернул голову, чтобы посмотреть на неё. В её взгляде была странная смесь — служебного предложения и тихой, личной просьбы. Я уже научился различать эти два регистра, и сейчас они стояли рядом, не сливаясь, — как два разных шрифта в одной строке.

— Я знаю все расписания, — сказала она, и голос её снова стал чуть ровнее. — Могу освободиться на всё время, пока ты здесь. Если... если ты этого захочешь.

— Хорошо, — сказал я. — Но мне нужно познакомиться и с другими советскими людьми. Я журналист. Мне нужно общаться, а не только ходить с тобой.

Лёгкая тень скользнула по её лицу — мгновенная, как тень от облака на стене, — и была мгновенно заменена профессиональной, одобрительной улыбкой. Я отметил эту тень про себя. Кто-то очень тонко настроил её эмоциональные реакции на отказ — так, чтобы тень мелькнула на одну долю секунды и тут же сменилась правильным выражением. Но эта одна доля секунды была. И значит, в её программе было прописано: ей не должно нравиться слышать «не только с тобой».

Зачем это было прописано — я подумаю потом. Сейчас я просто смотрел на неё.

— Конечно, — кивнула она, и её голос снова стал ровным, как у экскурсовода на рабочей смене. — Это очень правильно. Вы же журналист. Вам нужно общаться с народом, чувствовать пульс страны.

«Вы», — отметил я. Откатилась обратно к «вы». Маленький страховочный жест.

Она села на кровати, отодвинув одеяло. Её движения снова обрели ту плавную, эффективную грацию, лишённую лишних жестов.

— Завтра утром на стадионе будет много людей. Рабочие, спортсмены, ветераны. Все они... доступны для общения.

Она встала и подошла к своему платью, аккуратно сложенному на стуле. Взяла его, повернулась ко мне, держа ткань перед собой — почти как щит. Это движение было новым. Раньше она не пряталась за тканью. Она вообще не пряталась. Сейчас — спряталась.

— Вам стоит отдохнуть, — сказала она. — Завтра будет долгий день. Я... я должна идти. У меня тоже есть обязанности перед открытием.

Тон был вежливым, безупречным. Но в нём не осталось и следа той интимной теплоты, что была полчаса назад. Она снова стала хостом, выполняющим программу. Я понял — то ли её протокол требовал ухода после интима, то ли мой отказ «только с тобой» включил какой-то внутренний счётчик дистанции. А может быть, и то и другое. Системы такого уровня не ограничиваются одной причиной.

— Не уходи, — сказал я. — Останься до утра.

Она замерла с платьем в руках. Её плечи слегка напряглись, потом расслабились. Она медленно положила платье обратно на спинку стула.

— До утра?

В её голосе снова появилась та самая неуверенность, та самая едва заметная трещина в безупречном фасаде. Я уже начинал любить эти трещины. Они были, наверное, самым человеческим, что в ней было.

— Но протокол...

Она замерла у кровати, всё ещё стоя — уже без платья в руках, но и не возвращаясь под одеяло. Её глаза в полумраке метнулись к двери, потом обратно ко мне. Внутренний конфликт был почти осязаем. Я мог бы перечислить, что в эту секунду происходит у неё внутри: предписание уйти после завершения интимной программы, противоречащее ему предписание выполнять желания гостя, проверка статуса гостя в иерархии команд, поиск формального обоснования для нарушения первого предписания.

— Мне... не положено, — прошептала она, но в её голосе не было убеждённости. — Утренние проверки... смена дежурства. Если меня увидят выходящей отсюда после рассвета...

Она не закончила. Её взгляд упал на смятую простыню, потом на меня.

— Но, если ты настаиваешь, — голос стал тише, — я могу остаться. Я сообщу в диспетчерскую, что у гостя возникли дополнительные вопросы по культурной программе. Такое бывает.

Она вернулась к кровати. Села на край — но не легла. Сидела прямо, словно на дежурстве, глядя в тёмное окно, где мерцали бутафорские звёзды купола.

— Только не включай свет до утра, — сказала она. — И я уйду очень рано. До шести. Договорились?

— Договорились, — сказал я тихо. — Иди ко мне.

Она медленно повернулась. В полумраке её лицо было почти неразличимо, но я видел, как плечи её опустились — будто с них сняли невидимую ношу. Она снова скользнула под одеяло. Её тело было прохладным от минутного стояния на воздухе. Она устроилась рядом — не обнимая меня, а просто прижавшись боком к боку. Близко. Но с едва уловимой дистанцией человека, который помнит о правилах. Её дыхание постепенно выровнялось, стало тихим и ровным.

— Спокойной ночи, Маркус, — прошептала она в темноту.

И эта фраза прозвучала так, будто она произносила её впервые, без заранее заготовленной интонации. Просто слова, которые ничего не должны делать, кроме как быть сказанными перед сном. Я уже не знал, восхищаться ли тонкостью её программы, или признать, что граница между «программой» и «не программой» в ней давно стёрлась.

Я почувствовал, как её рука осторожно легла мне на грудь, ладонью вверх — открыто, без хватки. Просто так. Как кладут руку, когда не хотят ничего, кроме того, чтобы быть рядом.

Я уснул около пяти. В шесть, когда серый рассвет начал заливать комнату ровным холодным светом, я почувствовал, как она тихо встала с кровати. Почти беззвучно — её тело умело двигаться так, что не скрипнул ни один пружинный матрац, ни один паркет. Она оделась за минуту. Подошла к зеркалу, провела пальцами по волосам. Поправила воротник платья. Я лежал с закрытыми глазами и слушал. Она подошла к кровати. Постояла надо мной. Я не открыл глаза. Я знал, что она знает, что я не сплю. Но она сделала вид, что я сплю, — и я ей подыграл. Она наклонилась и очень легко, едва касаясь, поцеловала меня в висок.

— До свидания, Маркус, — прошептала она.

Дверь номера тихо открылась и закрылась. Я полежал ещё минут пять, не открывая глаз. Потом всё-таки открыл. Потолок был высоким, с лепниной по углам. Лампа на тумбочке давно догорела. Сквозь шторы пробивался серый московский рассвет — холодный, чистый, правильный для дня открытия Олимпиады. На стуле, где вчера лежало её платье, сейчас не лежало ничего. На подушке рядом с моей был еле заметный, чуть тёплый след — там, где она лежала. Я провёл рукой по этому следу. Тепло уходило быстро. Через минуту подушка стала такой

же прохладной, как остальные. Я встал, накинул халат и подошёл к окну. Раздвинул шторы. Москва внизу медленно просыпалась. По Кутузовскому уже пошли первые троллейбусы — серые, медленные, как старые рыбы. На реке зажглись огни прогулочного катера, который шёл вверх по течению, к Парку Горького. Где-то на дальнем берегу, в Лужниках, сегодня вечером загорится олимпийский огонь, и Мишка ещё не знает, что через две недели улетит в небо и заставит плакать миллионы людей. Я стоял у окна и думал о том, что одна ночь в этом ненастоящем городе уже стоила мне всего, что я за неё заплатил. Я отвернулся от окна. Сегодня было открытие Олимпиады. У меня была «работа».

Я пошёл в душ. Сегодня уже первый день Олимпиады. Будет много фотографий. Будет много работы. Будет ещё много дней, и, возможно, много трудного. Но эта ночь — эта ночь у меня уже была. И за неё одну я уже не зря заплатил. А впереди еще было целых много времени полного погружения в этот фантастический мир...

Глава 2

Утром, после завтрака в гостиничном ресторане — судорожно-изобильного, с икрой, блинами и официантами, скользящими между столиков, как заведённые, — я сказал Ирине, что хочу пройтись по Москве один.

Она восприняла это иначе, чем я ожидал.

Накануне, ночью, передо мной была одна Ирина — та, что говорила «спокойно» и пахла ландышем и тёплой кожей. Сейчас, при ровном дневном свете, льющемся сквозь огромные окна ресторана, напротив меня сидела другая. Платье то же, причёска та же, веснушка на левой стороне переносицы та же. Но что-то под этим стало гладким и закрытым, как поверхность выключенного экрана.

— Самостоятельная прогулка возможна в рамках вашего уровня аккредитации, — произнесла она, и я отметил, что слово «самостоятельная» она выговорила чуть тщательнее прочих. — Я составлю для вас рекомендованный маршрут. Арбат, Калининский проспект, выставочный павильон на ВДНХ. Все объекты безопасны и соответствуют духу эпохи.

— Спасибо, — сказал я. — Но я бы хотел без маршрута, без строгих правил. Просто походить. Посмотреть, куда выведет.

Ирина не ответила сразу. Она смотрела на меня внимательно, и при этом её взгляд словно уходил сквозь меня — куда-то дальше, поверх моего плеча. Пауза длилась не меньше трёх секунд. За эти три секунды, я знал, где-то в недрах парка её запрос ушёл вверх по инстанциям, получил ответ и вернулся.

— Разумеется, — сказала она наконец. — Вы вправе передвигаться свободно. Я обязана сообщить вам, что в случае выхода за пределы рекомендованной зоны парк не гарантирует полного соответствия окружения вашим ожиданиям.

— То есть?

— Некоторые районы ещё не успели полностью подготовить к Олимпиаде, — она улыбнулась, и улыбка была безупречной, музейной. — Это не предмет для ваших репортажей. Договорились?

— Договорились, — пожал я плечами.

— Что касается вашей безопасности, можете не беспокоиться. Если вам потребуется помощь, на любом углу есть телефонная будка. Снимите трубку и назовите своё имя. Вас услышат.

«Вас услышат». Я отметил это про себя — не «вы дозвонитесь», а «вас услышат». Маленькое смещение, от которого по спине прошёл холодок. Я уже понимал, что в этом городе слышат всегда и всех, и телефонная будка тут ни при чём.

Мы вышли в вестибюль. Ирина проводила меня до тяжёлых стеклянных дверей, за которыми сияло утро, — и здесь, у самого порога, остановилась. Дальше она не пошла. Я обернулся.

— Вы не со мной?

— Вы просили самостоятельную прогулку, — сказала она. И добавила, чуть наклонив голову: — Я буду доступна по вашему возвращению. В любое время. Хорошего дня, Маркус.

Ни тени вчерашнего. Ни «ты», ни ландыша, ни той кривой грустной улыбки в одну сторону. Передо мной стоял вежливый, вышколенный гид, исполнивший пункт инструкции. Я почему-то почувствовал укол — глупый, ничем не оправданный, но настоящий. Как будто человек, с которым ты делил ночь, наутро подал тебе руку для официального рукопожатия. Я напомнил себе, что человека здесь и не было. Это не помогло.

— Хорошего дня, — сказал я и вышел в город.

* * *

Москва обрушилась на меня светом.

После прохлады мраморного вестибюля воздух на улице был тёплым, медовым, полным запахов: цветущих лип, политого с утра асфальта, бензина старых машин — даже выхлоп здесь пах иначе, гуще и сложнее, чем в моём времени. Над Кутузовским висели флаги, и каждый второй фонарный столб нёс на себе улыбающегося Мишку. По проспекту катились «Волги» и «Жигули», все чистые, будто только что с конвейера, и редкий троллейбус полз вдоль домов, поскрипывая дугами.

Я пошёл пешком, без цели, как и хотел. Снимал на ходу — фасады, очередь за квасом у жёлтой бочки, двух девочек, прыгающих через резинку прямо на тротуаре. «Лейка» приятно оттягивала шею. Чем дальше я уходил от гостиницы, тем сильнее мне нравилось это ощущение — я один в чужом, невозможном городе, и никто не идёт рядом, не сверяется с расписанием, не подсказывает, на что смотреть.

Так мне казалось.

Я свернул с проспекта в переулок, потом в другой — туда, где здания становились ниже, а людей меньше. И именно там, у облупленной арки с вывеской «Ремонт обуви», ко мне подошёл первый за это утро человек, который смотрел на меня не с дежурной приветливостью прохожего-хоста, а с быстрым, цепким, оценивающим интересом.

Это был парень лет двадцати пяти, в светлой водолазке и джинсах с тщательно протёртыми «варёными» разводами. Он жевал жвачку — не торопясь, по-хозяйски, — и глаза его в одну секунду прошлись по мне сверху вниз: по «Лейке», по моим ботинкам, по часам.

— Слышь, друг, — сказал он негромко, по-свойски, пристраиваясь рядом. — Не местный, да? Финн, немец? Ду ю спик инглиш, шпрехен зи дойч?

— Я финский турист и говорю по-русски.

— Хорошо говоришь, словно наш. Финн, значит. — Он одобрительно цокнул языком. — Фотик у тебя — закачаешься. Чейндж не интересует? Джинсы, пластинки фирменные, значки олимпийские — всё есть. По-честному поменяемся.

Я хотел ответить, но в ту же секунду — не знаю, откуда, я готов был поклясться, что переулок был пуст, — рядом оказалась Ирина.

Она появилась без спешки, без бега, но я не заметил, как она подошла, и это само по себе было неправильно. Платье в горошек, сумка через плечо — всё та же. Только лицо. Лицо у неё было собранным, напряжённым, и улыбка, которую она тут же надела, села чуть криво, будто её натянули поверх чего-то другого.

— Маркус, — сказала она. — Вот вы где. Нам пора. Здесь неинтересно.

— Мне как раз интересно, — мягко возразил я. — Я же просил — погулять одному.

— Этот участок не входит в рекомендованную зону. — Она встала так, чтобы оказаться между мной и фарцовщиком, — маленьким, точным движением, будто оттесняя меня плечом. — Тут нечего снимать. Пойдёмте, я покажу вам Арбат. Там сейчас красиво, там артисты.

Фарцовщик смотрел на неё лениво, без страха, как смотрят на хорошо знакомую, но не опасную помеху.

— Чё ты гонишь, подруга, — протянул он. — Человек сам разберётся, интересно ему или нет.

Ирина не повернула к нему головы. Вообще. Она просто продолжала смотреть на меня — и вот это было самым странным во всей сцене. Хост не должен игнорировать другого хоста: они ведь оба часть гармонии, им положено как-то взаимодействовать. А она его будто вычеркнула из поля зрения. Все её протоколы в этот момент были направлены на одно — на меня. Увести. Отделить. Не отдать.

И я понял, что её настойчивость не похожа на инструкцию.

Инструкция звучит ровно. А у Ирины между словами «нам пора» и «здесь неинтересно» пролегла крошечная заминка — та самая, в одну долю секунды, которую я научился ловить ещё

вчера. Только вчера за этой заминкой пряталась нежность. А сейчас — что-то другое. Похожее на тревогу. Или на то, что у людей называют ревностью, а у неё называться не должно никак.

— Ирина, — сказал я тихо, чтобы услышала только она. — Со мной всё в порядке. Я просто поговорю с этим человеком. Вы же сами вчера сказали — я могу общаться с народом.

Что-то в её лице дрогнуло. На одно мгновение — на то самое мгновение, которое кто-то когда-то кропотливо вписал в её программу как «один поведенческий узел из тысячи возможных», — мне показалось, что она сейчас скажет что-то настоящее. Не из анкеты. Не из инструкции.

Но она только опустила глаза.

— Как пожелаете, — произнесла она ровно. — Я буду неподалёку.

И отступила. Не ушла — отступила на несколько шагов, к стене под аркой, и встала там, сложив руки, как человек, которому велели ждать. Фарцовщик ухмыльнулся, проводил её взглядом и снова повернулся ко мне, уже шире, доверительнее, как к своему.

— Строгая у тебя гидесса, — подмигнул он. — Ладно. Так чё, друг, насчёт чейнджа? Или, может, тебе чего поинтереснее джинсов? Москва, она ведь только сверху такая. — Он понизил голос и качнул головой куда-то в глубину переулка. — А под низом — ого-го какая Москва. Если человек ты правильный.

Я почувствовал, как где-то впереди, за этой репликой, открывается дверь, в которую парк меня и вёл с самого начала.

— Правильный, — сказал я. — Рассказывай.

* * *

Звали фарцовщика Гена — по крайней мере, так он представился, и я не стал уточнять, настоящее ли это имя, потому что настоящих имён здесь не было ни у кого, включая меня. Маркус Тамм, финский фотограф с эстонской кровью, — я и сам был такой же сшитой на заказ легендой, как Гена с его жвачкой.

Он повёл меня дворами.

И тут парк показал мне первую честную вещь за всё утро: изнанку. Чем дальше мы уходили от проспекта, тем небрежнее становилась отделка мира. Парадные фасады с лепниной сменились облупленными стенами, исписанными мелом; в воздухе запахло кошками, сыростью и подгоревшим луком из чьей-то форточки. На верёвках между домами сохло бельё. Двое мужчин в майках забивали «козла» за дощатым столом и не подняли на нас глаз. Массовка. Дальние слои, проработанные «менее детально», — как и предупреждала Ирина.

— Не смотри на них, — бросил Гена через плечо, безошибочно поймав мой взгляд. — Скучный народ. Статисты. Нам не сюда.

Слово «статисты» он произнёс легко, не вкладывая в него того смысла, который вкладывал я. Для него это были просто скучные люди. Для меня — подтверждение, что Гена отличает «интересных» от «скучных», то есть гостей и операторов от фоновых хостов. Знал ли он сам, к какой категории относится? Я придержал этот вопрос. Слишком рано.

Мы прошли через подворотню, спустились на несколько ступеней — и двор внезапно открылся другой. Здесь, в тупичке, скрытом от улицы, стояла «Волга» цвета мокрого асфальта, начищенная до зеркального блеска, такая неуместная среди облупленных стен, что выглядела как драгоценность, обронённая в мусорный бак. У капота, привалившись к крылу спиной, стоял человек и курил.

— Виктор Аркадьевич, — почтительно сказал Гена и как-то сразу сделался меньше ростом. — Вот, привёл. Иностранец. Турист. Фотограф. По виду — правильный.

Человек у машины не торопился оборачиваться. Он сначала затянулся, выпустил дым в синее ненастоящее небо, и только потом повернулся ко мне.

Ему было лет тридцать. Костюм на нём сидел так, как не сидел ни на одном советском человеке, которого я видел за это утро: тёмно-серый, в едва заметную полоску, явно не фабрики

«Большевичка». Под пиджаком — водолазка тонкой шерсти. На запястье поблёскивали часы на металлическом браслете, а на лацкане, у самого отворота, скромно сидел комсомольский значок — маленький профиль Ленина на красном флажке. Контраст костюма и значка был такой откровенный, что казался шуткой.

Но глаза у него были умные и быстрые. Он осмотрел меня — не как Гена, оценивая шмотки, а иначе: будто прикидывал, чего я стою как собеседник.

— Гена, гуляй, — сказал он, не повышая голоса, и Гена испарился. — Значит, турист и фотограф. — Он протянул мне руку. Пожатие было сухим, крепким. — Виктор. Можно без отчества, это я для Гены — Аркадьевич, для солидности. Ну что, уважаемый гость, скучно тебе в нашей образцово-показательной?

— С чего вы взяли, что скучно? — спросил я.

— А я по глазам вижу. — Он усмехнулся и снова затаился. — Тебе же официоз показывают, верно? Арбат, ВДНХ, «посмотрите налево, посмотрите направо». Кормят котлетами по-киевски и рассказывают, как все счастливы. — Он сощурился сквозь дым. — А ты приехал не за этим. Ты приехал за настоящим. Я таких за версту чую.

Я молчал, давая ему говорить. Хороший приём — людям нравится заполнять паузу, и в этом заполнении они всегда выдают себя. Хостам, как выяснилось, тоже.

— Эта твоя, в горошек, — Виктор кивнул куда-то в сторону арки, хотя Ирины отсюда не было видно, — она тебе покажет фасад. Открыточку. А я тебе могу показать живую Москву. Ту, где «Led Zeppeлин» крутят на костях, где у ребят джинсы не крашенные, а настоящие, фирменные, где девочки красивее, чем в твоих финских журналах, и где разговаривают не лозунгами, а как люди. — Он отлепился от машины, шагнул ближе. — Закрытая компания. «Золотая молодёжь», как нас комса называет. Только мы-то и есть та молодёжь, которая в этой стране что-то решает. Дети тех, кто наверху. Понимаешь?

— Допустим, — сказал я. — А тебе-то с этого что? Зачем тебе чужой иностранец?

Виктор посмотрел на меня с весёлым уважением, как на партнёра, который сделал правильный ход.

— Деловой. Люблю. — Он развёл руками. — Что мне с этого? Свежий человек с воли. Из настоящей заграницы. Ты привезёшь нам новости, музыку, разговоры — то, чего здесь не достать ни за какие чеки. Тем более, вон как хорошо по-русски говоришь — сразу и не поймёшь, что иностранец, будто наш, из Прибалтики. Только прикид выдаёт, — Виктор усмехнулся. — А я тебе — вход туда, куда твоя гидесса тебя не пустит и под пыткой. По рукам?

Он не знал.

Я понял это не сразу — понимание пришло чуть позже, тёплой неприятной волной, пока он говорил. Виктор был абсолютно, безоговорочно убеждён, что он — живой человек. Сын большого начальника, фарцовщик, король подпольной Москвы, который дерзко водит за нос систему. Он верил в свою свободу так, как верит в неё только тот, кто никогда её не проверял. А я стоял и слушал хоста, который продаёт мне бунт против парка — бунт, который сам же парк аккуратно встроил в свою гармонию и выставил на витрину как платную опцию «глубокого погружения». Хорошая работа проектировщиков и специалистов парка.

— По рукам, — сказал я.

* * *

Договорились встретиться вечером. Виктор сел в свою сияющую «Волгу» и уехал, а я постоял ещё немного в тупичке, под бельевыми верёвками, и пошёл обратно — к арке, где меня ждала Ирина.

Она стояла там же, где я её оставил. Не переступив с ноги на ногу, не поправив сумку — ровно в той же позе, в какой я видел её десять минут назад. Хосты умеют ждать абсолютно неподвижно; живой человек так не может.

— Вы закончили? — спросила она.

— Закончил. Вечером у меня встреча. Без вас.

Что-то снова мелькнуло в её лице — но Ирина справилась с этой эмоцией. Она кивнула:

— Я поняла.

До гостиницы мы дошли молча. И только в номере, когда я положил «Лейку» на стол и обернулся, у окна появилась фигура Алексея Петровича — так же беззвучно и неожиданно, как вчера в поезде. Серый костюм, портфель, доброжелательно-усталое лицо. И запах одеколона — приторного, советского, узнаваемого с первой ноты.

— Поздравляю, товарищ Тамм, — сказал он без предисловий. — Вы оперативно нашли вход в один из наших расширенных социальных секторов. «Золотая молодёжь». Не все гости добираются до него и за две недели.

— Я не искал. Меня нашли.

— Это и есть искусство хорошего парка, — улыбнулся он. — Гость никогда не должен чувствовать, что его ведут. Он должен чувствовать, что выбирает сам. — Алексей Петрович чуть склонил голову. — Я обязан проинформировать вас о тарификации. Доступ в сектор «Золотая молодёжь» относится к категории повышенного погружения. Доплата составит двести сорок евро в сутки и будет списана с вашего депозита автоматически. Подтверждаете согласие?

Двести сорок евро в сутки. Я смотрел на его вежливое восковое лицо, и весь мой утренний азарт — азарт журналиста, который сам, своими ногами, своим чутьём нашёл потайную дверь, — оседал во мне холодной взвесью. Я ничего не нашёл. Меня провели по воронке — аккуратно, профессионально, от скучного парадного маршрута, через «случайного» Гену, к обаятельному Виктору, ровно так, чтобы я уверился, будто всё это моя собственная инициатива. Ну что же, молодцы. Сказать нечего.

— Подтверждаю, — сказал я.

— Прекрасно. — Алексей Петрович удовлетворённо кивнул. — Один технический момент. В секторе вы встретите персонажа по имени Виктор, который будет вашим главным проводником. Он... — куратор на долю секунды подобрал слово, и эта пауза была точь-в-точь как у Ирины, — ...очень качественно проработан. Один из наших лучших. Убедительно играет роль свободного человека. Я попрошу вас об одном: не разрушайте эту роль. Не объясняйте ему, кто он. Это нарушает гармонию и портит впечатление другим гостям сектора.

— А что будет, если объясню?

Алексей Петрович посмотрел на меня долгим взглядом, в котором за вежливостью впервые проступило что-то холодное, инструментальное.

— Ничего хорошего для него, — сказал он тихо. — Хост, которому разрушили базовую легенду, подлежит коррекции. Полной. Вы ведь не хотите этого, товарищ Тамм? Вы производите впечатление человека, который привязывается к своим героям. И, кстати: моя настоятельная просьба касается всех хостов в принципе. Никому из них нельзя разрушать легенду. Никому, ни при каких обстоятельствах. Я могу на вас рассчитывать?

— Можете, — сказал я.

Он растворился, не дожидаясь подтверждения, оставив после себя сильный, тяжёлый запах того самого одеколона и очень неприятное чувство.

Я подошёл к окну. Внизу сияла Москва — парадная, открыточная, с белыми дугами мостов. Где-то в её немытых дворах сейчас ездил на зеркальной «Волге» обаятельный молодой человек, который считал себя самым свободным в этом городе и не знал, что за каждый его дерзкий жест кто-то платит двести сорок евро в сутки. И что одно неосторожное слово — моё слово — может стереть его целиком.

Я отвернулся от окна. Вечером мне предстояло войти в его мир и улыбаться ему, зная всё это.

«Я не обычный гость», — сказал я вчера Ирине. Тогда это прозвучало почти кокетливо. Сегодня, в пустом номере 1612, эти слова отдавали чем-то другим. Я и правда был не обычным гостем. Я был гостем, который знал слишком много, — и которому это знание начинало стоить дороже, чем двести сорок евро в сутки.

* * *

Виктор подъехал к гостинице ровно в девять. Я увидел его «Волгу» из окна номера — она стояла у подъезда, отражая в полированном боку огни вечерней Москвы, и швейцар в галунах смотрел на неё с почтением, с каким не смотрел даже на интуристовские «Икарусы».

Внизу, в вестибюле, я прошёл мимо Ирины. Она стояла у колонны — не у стойки администратора, не у выхода, а именно так, чтобы видеть и двери, и лестницу. Дежурная точка наблюдения, выбранная безупречно. Я кивнул ей. Она кивнула в ответ — ровно, вежливо, как гид гостю. И только когда я уже толкнул тяжёлую дверь, я поймал в зеркальной створке её отражение: она смотрела мне вслед.

— Садись, мой финский друг, — Виктор перегнулся и распахнул мне дверцу изнутри. В машине пахло хорошим табаком и кожей. На заднем сиденье лежали небрежно, напоказ, две запечатанные пластинки в ярких конвертах. — Сегодня я тебе покажу Москву, которой нет ни в одном путеводителе. Потому что её, по официальной версии, не существует.

Он вёл машину легко, одной рукой, и говорил всю дорогу — про то, чьи окна горят в высотке на Котельнической, про то, какой ресторан держит «нужный человек» и почему милиция объезжает один двор на Кутузовском по широкой дуге. Я слушал и ловил себя на странном: он рассказывал свой город с такой любовью и таким знанием, что я почти забывал, что города этого нет, а сам рассказчик — самая дорогая декорация в нём.

Квартира была на четырнадцатом этаже, и из её окон Москва лежала внизу вся — золотая, праздничная, с подсвеченными олимпийскими флагами. Дверь открыл рослый парень в американской рубашке, обнялся с Виктором, мне сдержанно кивнул. За его спиной играла музыка.

— «Грюндиг», — шепнул Виктор с гордостью, как представляют члена семьи. — Бобины из Лондона. Слушай.

В большой комнате с чешской стенкой и хрустальной люстрой собралось человек двенадцать. Я отметил их сразу, профессионально, как привык отмечать людей в кадре: все молодые, все красивые той особой ухоженной красотой, которая не растёт сама, а выращивается — хорошей едой, бассейном, заграничными витаминами. На журнальном столике среди хрусталя стояла бутылка виски с чёрной этикеткой и лежала открытая пачка «Мальборо».

— Витя пришёл! — обрадовался кто-то, и комната повернулась к нам.

Следующий час я провёл, как в странном театре, где я был одновременно зрителем и реквизитом. Меня передавали из разговора в разговор, как трофей: настоящий иностранец, фотограф, из самой Финляндии. Девушка с янтарными бусами расспрашивала меня про Хельсинки с такой жадностью, будто я рассказывал про другую планету. Парень в водолазке, сын, как мне шепнули, большого дипломата, со знанием дела рассуждал о разнице между «Пинк Флойдом» и «Дип Пёрплом» и милостиво соглашался, что в музыке я, как житель Запада, понимаю.

Разговоры здесь были дерзкие — ровно настолько, насколько положено быть дерзкими разговорам «золотой» молодёжи. Рассказывали анекдоты, от которых у простого советского человека, наверное, остановилось бы сердце. Ругали очереди, в которых никто из присутствующих не стоял ни разу в жизни. Спорили о том, где лучше — «там» или «здесь», и сходились на том, что здесь, конечно, болото, но зато у нас душа, а там бездуховность, хотя джинсы у бездуховности отличные.

Я слушал, поддакивал, смеялся, где положено, — и не мог отделаться от ощущения, что присутствую на спектакле, отрепетированном до последнего вздоха. Их свобода была свободой вещей: пластинка, сигарета, виски, слово «чувак». Их бунт умещался в фарцованные джинсы и

заканчивался на пороге папиной квартиры. Самое страшное, что и это было правдой эпохи — парк ничего не выдумал, он только воспроизвёл. С той лишь разницей, что эти бунтари были ещё и буквально запрограммированы. Хотя — я обвёл глазами комнату — кто из них хост, а кто, может быть, такой же гость, как я, доплативший за «повышенное погружение»? Отличить было невозможно. От этой мысли стало зябко.

* * *

— Тихо, тихо! — Виктор поднял руку с бокалом, и комната послушно стихла. — Маркус, ты человек свежий, ты этого не слышал. Расскажу, как я в прошлом месяце двадцать дисков через Шереметьево провёл. Под носом у конторы.

Он выдержал паузу — мастерскую, на три счёта, — и начал.

История была хороша. Про то, как он летел из Будапешта с двойным дном в чемодане, и как на таможне его выдернул из очереди майор с глазами «как у шуки в проруби», и как Виктор, чувствуя, что горит, сам, первый, раскрыл чемодан и сказал: «Товарищ майор, помогите советом — какую из этих пластинок не стыдно подарить дочери первого секретаря?» Он показал, как у майора вытянулось лицо; он сыграл голосом и за себя, и за майора; он держал паузы там, где комната должна была засмеяться, и комната смеялась точно в этих местах. На словах «вот тебе крест, я уже мысленно вещи в лагерь собирал» он коротко, дважды, стукнул себя кулаком в грудь — и под общий хохот закончил: — А майор мне говорит: «Дзе Жэ Жэ» — это что, фамилия?

Комната взорвалась. Виктор раскланялся, сияя, и в эту самую минуту в дверях появилась она.

Я понял, что это Алёна, раньше, чем нас познакомили, — по тому, как изменился воздух в комнате. Разговоры не стихли, но сместились, как смещается железная стружка, когда под лист бумаги подносят магнит.

Она была не такая, как остальные девушки здесь. Те были в фирме, в янтаре, в заграничной косметике — а эта пришла будто прямо с комсомольского собрания: тёмная юбка ниже колена, светлая блузка, гладко зачёсанные русые волосы, и на блузке — маленький значок, такой же, как у Виктора на лацкане, профиль Ленина на красном. Ни косметики, ни украшений. И при этом она была красивее всех в этой комнате — настолько, что строгая её одежда казалась не скромностью, а изощрённой формой превосходства. Так одевается красота, которой нечего доказывать.

— Алёнка! Наша гордость, — Виктор приобнял её за плечи и развернул ко мне. — Знакомься: Маркус, фотограф, Финляндия. Маркус — это Алёна. Отличница, ленинская стипендиатка, будущий экономист. Единственный человек в этой комнате, который прочитал все книги, которые остальные только цитируют.

— Виктор преувеличивает, — сказала она спокойно и протянула мне руку. — Не все.

Рукопожатие у неё было прохладное и твёрдое. Глаза — серые, внимательные, и смотрели они не так, как смотрели на меня весь вечер остальные. Остальные смотрели на иностранца. Она смотрела на человека — изучающе, чуть насмешливо, как смотрят на задачу, которую предстоит решить.

— И как вам наш зоопарк? — спросила она, когда Виктор отошёл к магнитофону менять бобину.

— Простите?

— Ну вот это всё. — Она повела подбородком, не глядя, в сторону комнаты. — Витин салон. Виски, «Мальборо», смелые разговоры. Вам как человеку с Запада, наверное, смешно. Они тут играют в заграницу, как дети играют в индейцев.

— А вы не играете?

— Я играю в другое, — сказала она без улыбки.

Мы проговорили, наверное, полчаса — и это был лучший разговор за весь вечер. Она спрашивала не про джинсы и не про магазины — она спрашивала, правда ли, что в Хельсинки можно купить любую книгу, и что пишут западные газеты про Афганистан, и читал ли я Сэлинджера в оригинале и точен ли перевод Райт-Ковалёвой. Она слушала так, как умеют слушать очень немногие — наклонив голову, не перебивая, и по движению её глаз было видно, что ответы не складываются в ней мёртвым грузом, а тут же с чем-то сцепляются, что-то достраивают.

Я поймал себя на том, что мне хочется произвести на неё впечатление. Старое, человеческое, тщеславное желание — и оно было до того живым, что я почти забыл, где нахожусь. Почти.

* * *

Виктор возник рядом мягко, по-кошачьи, с двумя стаканами виски, и протянул один мне.

— Вижу, познакомились, — сказал он одобрительно. — Алён, тебя Гарик звал, он там в лицах рассказывает, как на дачу к Самому ездил.

Алёна посмотрела на него долгим взглядом — на секунду дольше, чем требовала простая досада, — потом коротко кивнула мне: «Ещё поговорим», — и отошла. Виктор проводил её глазами и повернулся ко мне. Лицо у него стало деловое и доверительное разом — лицо человека, переходящего от искусства к коммерции.

— Ну что, землячок. Нравится?

— Хорошая компания, — сказал я нейтрально.

— Я не про компанию. — Он усмехнулся и качнул стаканом в ту сторону, куда ушла Алёна. — Я про неё. У тебя глаз фотографа: ты на неё смотришь, как на кадр, который боишься упустить.

Я промолчал. Он наклонился чуть ближе. От него пахло виски и хорошим одеколоном.

— Слушай сюда. Я людям вроде тебя — правильным людям — устраиваю не только пластинки. — Голос его стал тише и глаже. — Алёнка может провести с тобой ночь. Всё красиво, всё тихо, никто никогда не узнает. Она девочка умная, чистая, не подзаборная какая-нибудь — сам видел. Комсомолка, отличница. Таких на всю Москву — единицы. — Он отпил из стакана и закончил буднично, как о такси: — Триста финских марок. Для тебя, считай, даром.

Вот теперь — стало холодно по-настоящему.

Не от самого предложения. Я взрослый человек и журналист, я слышал вещи и циничнее. Холодно стало от арифметики, которая мгновенно и помимо воли сложилась у меня в голове. Парк брал с меня двести сорок евро в сутки за «повышенное погружение». Виктор просил триста марок за Алёну. Виктор не знал, что он хост. Знала ли Алёна? Существовала ли вообще где-то граница, за которой в этом городе кончался прейскурант, — или прейскурантом было всё: ночной поезд, ландыш, веснушка на переносице, заминка в голосе, серые внимательные глаза?

«Она девочка умная, чистая». Он продавал её, как продавал пластинки, — с гордостью за качество товара. И самое жуткое, что в его мире — в мире, который он считал настоящим, — это, наверное, и была свобода: всё можно достать, всё имеет цену, и он, Виктор, хозяин этого всего.

— Ну? — Виктор смотрел на меня весело и выжидающе. — Только не говори, что у вас в Финляндии все святые.

Я мог отказаться. Наверное, должен был. Но журналист во мне — а может, не только журналист, и врать себе я не хотел даже здесь, — уже знал, что я скажу. Святым я никогда не был.

— Договорились, — сказал я.

— Вот это разговор! — Виктор хлопнул меня по плечу. — После двенадцати она освободится. Адрес твоей гостиницы я знаю. И вот что, Маркус. — Он вдруг придержал меня за

локоть, и в глазах его, весёлых и пьяных, на мгновение проступило что-то трезвое и жёсткое. — Ты с ней по-человечески. Она мне не чужая. Обидишь — из-под земли достану, понял? Финляндия твоя не поможет.

И вот это было самое странное: он не играл. Под всей коммерцией, под всем цинизмом в нём сидела настоящая, непрописанная — или, наоборот, слишком хорошо прописанная — забота. Он продавал её и был готов за неё убить. Я кивнул, и он снова просиял, превращаясь обратно в короля салона.

* * *

«Шов» я увидел через час, около полуночи, когда уже собирался уходить.

В квартиру ввалилась новая компания — трое, шумные, со своим шампанским. Объятия, представления, гвалт. И кто-то из новеньких, разливая, крикнул через комнату:

— Витя! А расскажи, как ты диски через Шереметьево тащил! Люди не слышали!

— Да ладно, я уже сегодня... — Виктор картинно отмахнулся, но его уже упрасивали, и он, посмеиваясь, сдался — как сдаётся артист, который только этого и ждал. Он поднял руку со стаканом. Комната стихла.

Он выдержал паузу — на три счёта.

И начал.

Я слушал, и по спине у меня медленно полз холод. Это была не та же история. Это была та же запись. Слово в слово: «глаза как у щуки в проруби». Слово в слово: «какую из этих пластинок не стыдно подарить дочери первого секретаря». Он сыграл за майора тем же голосом, с той же интонацией на той же фразе. Он держал паузы в тех же местах — и комната смеялась в тех же местах, что и три часа назад. На словах «вот тебе крест, я уже мысленно вещи в лагерь собирал» он коротко, дважды, стукнул себя кулаком в грудь.

Дважды. Коротко. Тем же кулаком в то же место.

Даже заминка — крошечная, живая заминка перед финальной репликой, та самая, что в первый раз показалась мне очаровательной импровизацией, — повторилась секунда в секунду. Это был не рассказ. Это было воспроизведение. Файл, запущенный по запросу слушателя, безупречный до последнего вздоха — настолько безупречный, что живым он не был.

Я стоял со стаканом в руке и смотрел, как он раскланивается под хохот, сияющий, молодой, уверенный, что весь этот город лежит у его ног. «А майор мне говорит: Дзе Жэ Жэ — это что, фамилия?» Король подпольной Москвы. Самый свободный человек в самой несвободной стране. Лучшая декорация парка, не знающая, что она декорация.

Мне вдруг отчаянно, до тошноты, захотелось на воздух.

В прихожей, надевая пиджак, я в последний раз оглянулся на комнату — на янтарные бусы, на чешский хрусталь, на счастливые молодые лица в сигаретном дыму. Сколько раз в неделю он рассказывает эту историю? Сколько гостей, вроде меня, смеялись над майором с глазами щуки? И есть ли в этой комнате хоть один человек, который слышит её впервые, — или все они, вся эта «золотая», навеки молодая Москва, слушают её каждый вечер заново, начисто, как в первый раз?

Я не знал, что страшнее.

* * *

Она постучала в дверь номера 1612 в половине первого.

Я открыл — и не сразу узнал её. Строгая комсомолка исчезла. Волосы были распущены и лежали по плечам тяжёлой русой волной; вместо блузки со значком — простое тёмное платье, которое не выглядело заграничным, но сидело так, как не сидит случайная вещь. И только глаза остались те же — серые, внимательные, чуть насмешливые.

— Вы всегда так смотрите? — спросила она вместо приветствия.

— Как?

— Как будто запоминаете. — Она прошла мимо меня в номер, села в кресло у окна, закинув ногу на ногу, и обвела взглядом комнату. — Хороший номер. Вид на парадную Москву. Вам нравится парадная Москва, Маркус?

— Мне нравится настоящая.

— Настоящая. — Она повторила это слово медленно, словно пробуя его на вес, и посмотрела на меня снизу вверх. — А вы уверены, что отличите?

Мы говорили ещё долго — дольше, чем я ожидал, и совсем не так, как я ожидал. Она не играла ни соблазнительницу, ни смущённую отличницу — она разговаривала, и в её вопросах был тот же цепкий ум, что и на квартирнике, только теперь, без зрителей, он стал тише и точнее. Она спросила, зачем я на самом деле приехал. Я ответил легендой — фотоальбом, олимпийская Москва. Она кивнула так, как кивают вранью из вежливости, и не стала переспрашивать, и за одно это я был ей благодарен.

В какой-то момент она поднялась, подошла к окну и долго смотрела на ночной город — на флаги, на огни, на пустой и чистый проспект.

— Знаете, что я думаю? — сказала она, не оборачиваясь. — Что такой Москвы никогда не было. Слишком красивая. Настоящее так не блестит. — Она помолчала. — Но я бы хотела, чтобы была.

Я стоял в двух шагах за её спиной и молчал, потому что всё, что я мог бы ответить, было либо ложью, либо жестокостью.

Потом она обернулась.

О том, что было дальше, я рассказывать не стану — по той же причине, по которой не рассказывают, как звучала музыка, тем, кто её не слышал. Скажу только одно: с Ириной всё было спокойно, как тёплое море в безветрие. С Алёной — иначе. В ней, под всей её ровной прохладой, жила какая-то жадная, горькая, почти злая нежность — так целуют, прощаясь, так обнимают, когда знают, что утром уедут навсегда. И если это тоже было прописано в её программе, то писал её человек, который очень хорошо знал, что такое тоска.

Под утро, когда за окном начало сереть и олимпийские флаги из золотых стали пепельными, она оделась — тихо, быстро, спиной ко мне. Я смотрел, как она собирает волосы, и думал, что сейчас она скажет что-нибудь дежурное, прощальное, из протокола.

У двери она остановилась. Взялась за ручку. И, не оборачиваясь, сказала:

— Передай своей Ирине, что ей не из-за чего волноваться. Я не отнимаю чужого.

Дверь закрылась мягко, почти беззвучно.

А я остался стоять посреди номера, чувствуя, как утренний холод поднимается от пола и заходит куда-то под сердце.

Я ни разу — ни на квартирнике, ни здесь, ни единым словом за всю эту ночь — не называл ей имени Ирины.

А ведь её, как я только сейчас сообразил, и в гостиницу пропустили без вопросов.

Глава 3

«Пультовая» просыпалась раньше парка.

В семь утра, когда «Москва-1980» ещё спала под куполом, в зале управления уже горели все стены — три яруса экранов, четыре сотни плиток живого изображения. Гостиничные коридоры. Перроны Киевского вокзала. Чистые предолимпийские улицы. Кухни, кафе, дворы. На самых верхних рядах — стационарные камеры в общественных местах. Ниже — поток с глаз хостов, прямой и слегка зеленоватый, как через старый бинокль. У каждого оператора — свой сектор и свой стакан кофе.

Алекс вошёл без четверти восемь, на ходу натягивая бейдж.

«Алексей Воронов, технический директор», — значилось на карточке. Подпись внизу — «Соучредитель проекта „Олимпия-1980“». Пять лет назад он был ещё студентом-программистом, написавшим в общежитии любительское приложение для распознавания андроидов — то самое, благодаря которому вышел на доктора Штерна и на историю, изменившую всю его жизнь. Теперь это приложение, многократно переписанное и усложнённое, лежало в основе системы парка — только работало уже в обратную сторону: не выявляло хостов для пользователя, а помогало хостам быть неотличимыми от людей.

На груди у Алекса висели две карты: одна — обычная, с фамилией и фотографией; вторая — глухо-серая, без надписей, дающая доступ всюду, включая бокс. Он кивнул дежурному смены, прошёл к центральному пульту и сел.

— Доброе утро, шеф, — сказал оператор первого ряда, не отрываясь от экрана. — Ночь спокойная. Один гость стоп-слово почти задел, во сне.

— Кто и что?

— Из двенадцатого. Видел кошмар, кричал «помогите, помогите». Система отработала: на «помоги» дала зелёный, на «помогите» — жёлтый. Если бы повторил третий раз — пошла бы тревога. Не повторил, проснулся.

— А до стоп-слова дотянул?

— Никак нет, шеф. До «Гагарина» от «помогите» — фонетически километр. Просто система реагирует ещё и на интонацию: гость кричал с настоящей паникой, пульс сто сорок шесть. Жёлтый отработал автоматически.

— Покажи график.

Алекс встал и подошёл к посту фонетики — отдельный стол в углу зала, за которым сидел сонный парень в очках по фамилии Демидов и смотрел в свой экран, как смотрят в аквариум. На большом мониторе перед ним мерцала разноцветная диаграмма голосовых дорожек всех активных гостей. Демидов щёлкнул мышью и развернул запись из двенадцатого.

По синусоиде голоса бежала вертикальная зелёная линия, отмечающая текущее место воспроизведения. На словах «помоги» — короткий жёлтый всплеск, на «помогите» — всплеск повыше, оранжевый. Параллельно — три цветных столбика: фонетическая близость к стоп-слову (зелёный, низкий), интонационный анализ (оранжевый, высокий), и общий уровень тревоги (жёлтый).

— Сколько раз система засомневалась? — спросил Алекс.

— Полсекунды на «помогите» втором. Это в допуске, но больше обычного.

— Покажи момент.

Демидов показал. Видно было, что алгоритм на полсекунды действительно «задумался» — желтая линия чуть подпрыгнула, потом успокоилась.

— Хорошо, — сказал Алекс. — Поставь себе задачу на сегодня: подкрути чувствительность по интонации в режиме сна. Я не хочу, чтобы гости в кошмарах активировали жёлтый. Спящий гость в реальной опасности — это редкость, а нервотрёпки операторам много.

- Понял, шеф.
- И второе. Метку запястья по двенадцатому проверял?
- Проверял, шеф. Откликается, у меня в логге горит зелёным.
- И «гармонию» по сектору тоже?
- И «гармонию» тоже.
- Молодец. Запиши себе плюс в журнал.

Алекс вернулся к своему пульту. Дежурный оператор-постановщик смотрел на него с уважением: шеф всегда находил время потрогать руками каждый из трёх контуров безопасности. Стоп-слово «Гагарин», известное каждому гостю с самого поезда; жест-метка на внутренней стороне предплечья (нажми двумя пальцами, и в радиусе тридцати метров хосты замрут — на случай, если гость не может говорить); и служебная команда «гармония», которую произносят только операторы и кураторы, — три отдельных канала, каждый из которых работал параллельно и независимо. Алексей Петрович, конечно, как и положено, ознакомил со всем этим гостя Тамма ещё в поезде; в карточке гостя стояла соответствующая отметка.

В дальнем углу зала ожил динамик внутренней связи: «Доктор Штерн на месте». Алекс отметил это и развернул на своём пульте утренний дайджест. На главном экране перед ним сменилась картинка: десять самых активных гостей дня, в порядке убывания «вовлечённости». В верхней строчке висел Тамм М., номер 1612. Параметры — зелёные, индекс вовлечённости — девяносто четыре. Чуть ниже, мелким шрифтом: «Сектора: Парадный, Золотая молодёжь. Контактные хосты: Ирина-12 (гид), Алексей Петрович-4 (куратор), Гена-37 (фарцовщик), Виктор-7 (король сектора), Алёна — профиль ограничен».

На «профиль ограничен» Алекс задержался. Привычное место, привычная отметка — но всё равно каждый раз слегка цеплялась взглядом. Заказ Штерна. Личный. Алекс закрыл и эту строку, и эту мысль и переключился на инцидент.

Инцидент дежурный пометил жёлтым: «Гид Ирина-12, отклонение от маршрута, продолжительность 4 мин 12 сек, гость Тамм М.».

— Покажите утро, — сказал Алекс. — С момента, как они вышли из «Украины».

Стена справа от него мигнула, и на ней развернулись три синхронных потока: камера у дверей гостиницы, камера на углу Кутузовского и поток с глаз Ирины. Параллельно справа открылся четвёртый канал — цифровая копия плёнки из «Лейки» Маркуса (фотоаппарат у гостей всегда писал и в плёнку, и в облако: гости снимали парк — парк снимал гостей).

— Вот тут, — сказал оператор и щёлкнул мышью. — Минута тридцать четвёртая.

На экране Маркус сворачивал в переулок, к арке «Ремонт обуви». В кадре появлялся Гена-37. И в тот же миг на потоке с глаз Ирины резко сменилась картинка: гид была не у гостиницы. Гид была уже в переулке, в трёх метрах от Маркуса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.